

Я порой, сомневаюсь в искренности своей памяти: неужели в пять лет можно помнить событие, а не его антураж? И тем не менее убежден — день Победы помню! Помню детали, которые подтверждала мать: тарелка репродуктора на самом высоком тополе у нашего барака, танк без башни, крутящийся «округ него на одной гусенице, сильный ветер, сносящий звуки за сотни, к которым прижалось восьмое отделение Карлага, и бесподобный голос Левитана, без конца повторявшего три слова: Победа, Сталин, Ура!

Но вот я пытаюсь перенести на бумагу эти воспоминания и теряюсь, сомневаюсь даже подтверждению мамы — сколько раз эти слова и по другим поводам звучали со столбов и плакатов, с трибун и газетных страниц в те годы! Думаю, что нынешние четырех-семилетние тоже на всю жизнь запомнят и перестройку, и застой, и гласность... Наша память, не обремененная документальным знанием, расположена к мифологизации прошлого: каждое поколение заявляет, что именно в его время были и люди, и события, а вот сейчас...

А сейчас мое поколение прикусило язык: на расцвет его молодости и зрелости пришелся скос, приведший к четвертьвековому застою буквально во всех сферах нашего бытия. И соотнося свое воспоминание о дне Победы с сегодняшним, я, противник сослагательности, готов к упреку: если бы наши матери и отцы! Но — стоп...

В ОСЬМОЕ отделение Карлага в те годы было живописнейшим уголком Центрального Казахстана. Оазис в степи, Разве только центр Карлага — Долинка сравнима была с Топаром. В нем размещались женский и мужской лагеря и зона 25-летних. Не опираясь на архивные данные! я не могу сказать ни о количестве, ни о контингенте «зеков» 8-го отделения. Избирательность памяти я направил на описание эпизодов, связанных с пребыванием там моим и матери, осужденной по статье 58-а — контрреволюционная деятельность, за которую даже по отбытии наказания автоматически следовала ссылка на неопределенный срок. И выдавалась справка об «отбытии наказания и следовании в ссылку», но сама справка, как указано в тексте, «не является видом на жительство».

И определяешь с грустью — все познается в сравнении: за сорок лет отношение к документу-справке, его превалированию над личностью, по существу, не изменилось: благоговейность при оказании срочной медпомощи, устройстве на работу, преследовании законом, признании права на гражданство! А в те годы наличие справки и вовсе не означало присутствия человека с его желудком и душой. Сейчас мы высмеиваем «справку о справках», но без них, родимых, ни в перестройку, ни в прошлое. У «зеков», политических, разумеется, в ходу были приписываемая Абакумову «шуточка»: «Я не бюрократ, чтобы подшивать в «дела» паспорта врагов народа».

Из рассказов матери: «4-го августа 1937 года в обеденный перерыв меня вызвали в горком партии по неотложному делу. У входа в горком стоял помощник первого секретаря с двумя молодыми людьми. Он сказал, чтобы я принесла папку с таким-то номером, а один из молодых людей сердито поторопил, чтобы я не задерживала помощника. Я прошла к себе, взяла папку и вышла к входу, но там уже никого не было... Я знала об арестах и в обкоме, и в исполкоме... Через полчаса меня вызвали те же молодые люди и сказали, чтобы я ехала с ними: «Без папки, ясно?» Ни сил, ни желания возмущаться не было — какая-то апатия, безразличие напало на меня. И до отправки по этапу я была в таком состоянии...»

Ее не допрашивали эти одиннадцать дней (этап начался с 15 августа), не предъявляли статьи, не говорили о сроке. Просто вывели из камеры: «С вещами!», повезли на вокзал на извозчике при конвое через весь город, посадили в теплушку. Там было много знакомых из горно, театра, исполкома. «Те, кто знал о приговорах себе, с нами не общались, а мы плакали, но на них смотрели как бы свысока и с жалостью. У незнающих о приговоре и сроках жила надежда — это недоразумение, ошибка, на какой-нибудь остановке им скажут: «Которые без приговора — вылазь с вещами обратно, накладочка вышла...» А эти, со сроками, подумать только, — восемь лет! — может, и впрямь не без грешка. Хотя, вот же администратор нашего театра — безобиднейший и милейший! Но — 8 лет за «антику»; в своем преклонении перед вождем назвал «сталинской» ложу для первых людей областного центра. «За дискредитацию имени вождя», — сетовал он. И металась безответная мысль: я-то где же, в каких словах оговорилась?»

Очень сдержана, даже сурова была мать в проявлении чувств,

если заходил разговор о прошлом. Когда прогремела «антипартийная группа», я только и услышал от нее, члена партии с 1923 года: «А сабельного Клима забыли...» Из скупых и неохотных рассказов ее я помню немого.

. Этап длился полтора месяца. Кормили сносно, ругани от конвоиров не слышали. Двое по дороге скончались — нервы, сердце. Многим, и ей в том числе, о приговоре и сроке — пять лет — объявили лишь по прибытии. И первый допрос «уточнение, и первое ее протестующее: «За что? Я буду писать Микояну!», и первый карцер в связи с этим протестом, и многое другое — впервые. На последующих «уточнениях» интересовались знакомствами, связями. Уже в ссылке, году а 46-м, вызвали в Долинку и спрашивали о Борисе Полевом, с которым работала еще в Калининне. «А я говорю, что такого я знаю, а он настаивает: как же, знаменитый писатель! — а я уперлась: ни полевых, ни степных не знаю!»

Помню, как оживилась она, рассказывая об уголовниках из своей номерной бригады: «Они поют, ерничают, а мы с подружкой молчим. Пристали: «брезгаете? Контра! Врагини!» А подружка, Анечка, и говорит: «Я под поезд бросалась и не боялась!» — «Как так?» — «А так!» — и давай им про Анну Каренину рассказывать. Те виду не подали, но смеялись, что к чему. Несколько ночей заставляли рассказывать — как слушали! Ах, как они слушали...» Может, и называлась фамилия Анны, но я не удержал в памяти — в разговорах с матерью, уже после реабилитации, звучало так много сильных известнейших имен, которые и тогда воспринимались с недоверием отчаянья: не может быть — жена самого Калинина! Брат Кагановича! Лидия Русланова!

Зоны восьмого отделения с трех сторон окаймлялись арыками и насаждениями тополей и клена. За ними тянулись тщательно возделанные делянки под овощами. Ближе к речке стояли два величественно ухоженных яблоневых сада и вишневый сад. Между речкой и зоной располагались приземистые бараки из самана для ссыльных и расконвоированных «бытовиков» и «гражданских». Ближе к сопкам стояли конный двор и стекольный завод. Среди этих построек выделялся солидностью «штаб» и квартира начальника отделения.

За каких-то пять-семь лет руками «зеков», политических, уголовников и ссыльных, в безнадежных даях Центрального Казахстана было создано это чудо зелени и вегетарианского изобилия! А Долинка, Самарка, Ялта, да-да, Ялта! — и десятки других оазисов от Моинты до Кочкетова?! Немцы и чеченцы, русские и татары, украинцы и караеавцы — без надежды и веры в жизнь, лишенные прав на нее, без техники — оживили степь на сотни и сотни километров вокруг! Восхищение и горечь подстегивают память. И простирается она в историю до фа-

раоновых пирамид, и — назад, к Беломорканалу, шахтам Кузбасса, северным портам. Вот зримые, осязаемые культовые постройки послеоктябрьских лет, А ведь были и Днепротэс, и Магнитка, и метро, и Волго-Дон. Как это разумом соединить а одно понятие — социализм? А соединить надо, потому как все это построено одним народом — советским. Только одно — вопреки, а другое — в полном согласии с Октябрем. И не позволительно умолчать: лагерная система построения социализма привилась Сталиным не столько в силу его жестокости, сколько в подтверждение им его пошлейшей мысли: сильное государство в условиях нарастания классовой борьбы можно построить только при условии жертвенного энтузиазма народных масс, скудости их экономического и духовного развития! То, что называем сейчас уравниловкой и с чем боремся в себе, навязано культом не только личности, но и государства. Высмеиваем манию «сто процентно-

Я НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛ...

сти» американцев и... гордимся своим, вульгарным донельзя аскетизмом — «кирза и бушлат греют сердце и душу...»

В 1956 году по случаю полной реабилитации, по времени совпавшей с ее днем рождения, мать и такие же оправданные или ожидающие оправдания знакомые устроили нечто вроде посиделок. Нам, молодежи, их детям и наследникам, если честно, было с ними скучновато. Мы жили новым временем — слушали возрождающийся джаз, читали Аксенова и Етушенко, неумело «рок-н-роллили», примеряли зауженные брюки, смешили анекдотами, за которые еще год-полтора назад невзирая на наши годы, загремели бы куда дальше Моинты...

Семейной строгости в доме не убавилось, и я к одиннадцати вечерам пришел домой. Часть гостей разошлась, осталась несколько человек для доверительной задушевной беседы. Один из них вдруг спросил меня:

— Вот скажи, парень, как я, беспартийный, отсидевший 10 лет по наговору или чьему-то умыслу, должен относиться к Советской власти? Скажи искренно, ведь вам сейчас — ого! — какая свобода дана...

Я отделился понятием механически на эти слова: «Ого, какая свобода!» — так и не сыграли в моей жизни, да и только ли в моей, той значимой роли, на которую так упало их поколение. Как-то исподволь, тихой сапой состоялось внушение, что свободы стало чересчур, а дело не всегда терпит ее. Что империализм только к ждет с нашей стороны идеологической неустойки, платить за которую придется достижениями Октября. Что наши увлечения джазом и Дудинцевым, свободным покровом пиджака, рабочей инициативой, демократизацией производства и т. д. пора вводить в русло жестких регламентов и твердых установок и делать оргвыводы. И все это со ссылкой на Ленина и требования текущего момента. Который и продлился почти 30 лет.

В ЦЕНТРЕ поселения сооружено было нечто из самана и досок — клуб, у входа в который стояла большая печь, сюда каждый входящий в кино приносил из дома или с работы стопку кизяка. Но в январскую лютость печь мало помогала, хотя, разгоревшись, гудела мощной тягой, забывая звуки с экрана. Фильмы шли больше трофейные: «Королевские пираты», «Леди Гамильтон», «Три мушкетера», «Индийская гробница». Из отечественных — «Падение Берлина», «Подвиг разведчика», «Свинарка и пастух», «Тахир и Зухра», конечно же — «Тарзан», не было ни

одного мало-мальски подходящего тополя, который бы мы, дети, не испытали на гибкость ветвей.

Фильмы шли по частям, перерыв между которыми затягивался надолго — то слишком душно в июле, то февральский буран перебарывал вытяжку печи и задувал дым на сцену и в зал, и начиналось проветривание, то привод передвижки отказывал. А бывало, зажигался свет, и на сцене стояли вооруженные солдаты — побег! Бежали в основном уголовники. Только однажды пропал кто-то из политических, кажется, женщина, так как мать тяжело вздохнула: «Ей до Самого не добраться!»

Как-то возвращавшихся с работы «зеков» в зону не пустили. Они сидели кучками на не отошедшей от зимы земле, жгли дымные костры из кизяка. Вокруг цепенела охрана, крутились здоровенные волкодавы, рыжие и злые. Уже основательно стемнело, когда со стороны сопки привели двоих, полураздетых и расцарапан-

ных, бросили у одного из костров к стали бить — то ли конвойные, то ли сами «зеки». — Под Карагандой поймали! — заявил кто-то из моих приятелей. были долго, потом затушили костры и построились колонной перед входом в зону. Дальше нам, детям, было неинтересно, — номерная, переключка простуженные отзывы «зеков», бешеный лай собак — это было по утрам и вечерами.

В КЛУБЕ давали концерт артистов-заклученных. Пели песни о Родине, Сталине, и ставились сценки из какой-нибудь знаменитой тогда пьесы о предателе-интеллигенте Глотове, чье имя мы потом долго навешивали по поводу и без на кого-либо что-то натворившего. Потом вышел фокусник. Меня поразили несколько его жестов: он брал героши-ну, совал ее в ухо и вытаскивал изо рта. Дома я немедленно повторил фокус — наполовину: из уха, куда я пальцем запихал камешек, в рот ничего не попало. Дело было в воскресенье, потому мать сказала рядом. Немедленно запрягли одноколку, и я совершил первое далекое, километров в двадцать, путешествие — в Долинку. И хотя камешек застрял основательно и боль была сильной, путешествие на свободе по степи навсегда отложилось в моей памяти.

В Долинке были врачи, лучшие в Карлаге, а скорее всего, и в Союзе. Операция прошла быстро, и меня угостили кусочком гематогена. Кажется, я подумал и выразил благодарность вслух, что неплохо бы еще раз приехать с камешком за такой вкуснятинкой, потому что мать сердито шлепнула меня: «В следующий раз сама расковыряю твои уши!» А мужчина в белом халате расхохотался и подарил еще и несколько шариков аскорбинки: «Для аппетита!»

Н А стекольном заводе работали пленные немцы, а может, то были итальянцы или румыны, но мы их всех звали «фрицы», и, когда их вели с работы в лагерь, они видели по пути нарисованные на снегу кресты и свастику, а летом выложенные из хворостин и соломинок эти же знаки. Если кто из взрослых заставал нас во время этих старательных художеств, нам здорово попадало. Впрочем, я видел однажды. Пеха, расконвоированный дезертир, ходивший на прямых ногах, простреленных в коленях, отогнав нас, стал что-то дорисовывать к нашим крестам, Пеху мы боялись и передразнивали походкой. Но где же, как не на войне, он был так покаленчен? Однако среди осужденных за дезертирство были и безрукие, с исполосованными шрамами лицами и спинами, те, кто чис-

лился окруженцами и власовцами. Отношение к ним взрослых передалось и нам, детям врагов народа, и мы вели себя с ними довольно развязно, чувствуя себя на порядок выше всяких там «фашистов и ков».

ПАВОДОК 47 года был сильным — размыло кладбище, и мы боялись купаться в Нуре. Кто-то видел плывущие по ней трупы, и детские страхи подогрелись вполне серьезными предостережениями взрослых, А в июле запылала пожарами сухостоя степь. Сады и делянки солнца иссушило вчистую. То же повторилось и в 48-м. Я уже ходил в школу и в шитой из свиной кожи сумке, рядом с букварем, носил голодную сытость — жмых. Мать завела было пяток кур, но их передумал хомяк. Кооперативно, всем баракком, выхаживали и холили двух кабанчиков, странно длинноногих и агрессивных, а как-то хватились — их нет: то ли украли, то ли сбегали в степь. В зоне исчезли все кошки, и вороны боялись пролетать над ней... Как-то конвоиры пекли в золе картошку, и проходивший мимо «зек» то ли попросил, то ли потянулся к ней — раздался крмки и выстрелы. Бригаду сняли с работы и увели в зону. Мы нашли несколько гильз и понаделали свистков.

У входа в школу пристроили сени с двойными дверями — «головомайку» — здесь нас проверяли на вшивость. Вошь брезгает здоровым и чистым ребенком, А наше здоровье, питаемое жмыхом и патокой, соответствовало белизне наших одежек, битых-перебитых по песку летом и снегу зимой. В борьбе с насекомыми применяли и дуст, но лагерные врачи запретили его, на годы опередили подобные акты по Союзу.

В те годы в стране люди везде жили не лучше, а порой, и хуже, чем в нашем поселении. Только не было вышек по окраинам их деревень и поселков, колючая проволока не опоясывала видимое пространство с четырех сторон и уголовная хроника на тысячу человек приходилась одной нелепицей, а здесь добрым десятком гадостей на детскую душу «врага народа».

В мартовскую серость и зябкость, числа пятого, года 1953, в вольных городах и селах царил уныние, и многие люди плакали, А в 8 отделении Карлага ссыльные устроили скромную пирушку и разрешили детям черпать ложкой из банки американской сгущенки, сохранившейся чудом с 40-х годов.

О культе личности мы услышали в 1956 году. Как это было в масштабе страны, должны были узнать из доклада Н. Хрущева. О докладе ходили слухи упорные. Факты и выводы, в нем содержащиеся, обещали обществу тяжелые, но очистительные раздумья. Следом за публикацией доклада неизбежно последовали бы оценочные публикации и статьи, как нынешняя в «Правде» от 5 апреля...

Доклад похоронили. А поколение, лишенное фактологической основы мировоззрения, конкретности знания о прошлом и настоящем, растерялось в сплетнях и слухах. В смоге обывательских суждений задыхалась живая и действенная мысль, пойдя по линии наименьшего сопротивления: движение по кругу, сомнения без веры, надежды на «авось», стремление не к цели, а средствам. И об этом поколении и обо всем, что с ним случилось в дальнейшем, нужен особый разговор. Потому что, на мой взгляд, лучшая часть этого поколения, сознавая свою ответственность за период с 1961-го по сей день, и вывела перестройку на орбиту революции, историзм и размах которой нам еще предстоит осознать.

ЭТИ записки обрывочны и бессюжетны: связать волею повествование дневникового типа или беллетристика, Боюсь, что без конкретных имен, и документов эти строки могут показаться конъюнктурными, рассчитанными на любопытство многих к событиям 30—40-х годов. Но я успокаиваю себя доводом — это в моей памяти, это было со мной и моими близкими.

Алексей ГОРЯЧЕВ.